

М.В.Строганов

О РОЛИ ПРЕДАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ ПУШКИНА

В письме к П.А.Вяземскому около 7 ноября 1825 г. Пушкин писал: "Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума" (XIII, 240). Здесь использованы слова из басни И.А.Крылова "Совет мышей", где сказано, что в совете мышей имели право заседать только те, "у коих хвост / Длинной во весь их рост". И вдруг среди них "мышонок молодой" увидел "крысу без хвоста", о чем сообщает соседке.

А Мышь в ответ: "Молчи! все знаю я сама;
Да эта крыса мне кума".

Можно было бы начать статью другими словами — из пушкинского стихотворения "Герой":

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман... (III, 253).

Но за "Героем" тянется такой длинный хвост пушкиноведческих штудий, что нас с ним ни в один совет мышей не впустили бы: все бы требовали уточнений да объяснений и дополнений, а они не приведут нас ближе к цели¹.

Наша же речь — о том, что в творчестве Пушкина, начиная с 1821 года, выделяется цикл произведений, построенных на историческом материале и художественно преобразующих этот материал. При этом данные тексты сопровождаются конкретно-историческими комментариями, которые опровергают художественную трактовку материала.

Явление это как особенность художественного мира Пушкина не привлекало внимания исследователей. Лишь А.А.Формозов коснулся некоторых отдельных фактов, но и он только приблизился к постановке вопроса².

Вот один очень характерный пример. Героиня "Полтавы" называется Марией:

Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной (IV, 19).

Но еще ранее, чем имя Марии появилось в тексте, к первым двум из процитированных стихов Пушкин делает примечание: “У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной” (V, 65).

Странно: если действовать по принципу крыловской Мыши, то надо было бы “молчать”, коли уж “эта крыса мне кума”, коли ты почему-то захотел сделать что-то вопреки исторической правде, а Пушкин сам разоблачает свой “возвышающий обман”. Почему?

Другой пример. Пушкин хорошо знает, что переведенные им “Песни западных славян” — вовсе не фольклорные тексты, а мистификация Мериме, но не только завершает работу над циклом, но и предпосылает его публикации письмо Мериме, в котором об этом идет речь. Почему он это делает?

Или: в том же стихотворении “Герой” не только в самом тексте сказано:

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас! (III, 253),

но и делается сноска: “*Mémoires de Bourtienne*” (другое дело, каково качество этих мемуаров!).

Или: близко знавший Пушкина И.П.Липранди писал: “Думаю, что для памяти Александра Сергеевича следовало определить положительно, что он, по прибытии в Кишинев, хотя и не очень твердо был ознакомлен с историческою и современною географией, но знал положительно, что Овидий не мог быть сослан Августом на левый берег Дуная, страну, в которой в первый раз появились римские орлы только при Траяне в 105 году по Р.Х.; следовательно, 91 год после смерти Августа”³. Далее Липранди пишет, что “Пушкин одинаково, как и мы все, смеялся над П.П.Свиньиньым, воображившим Аккерман местом ссылки Овидия и, вопреки географической истории, выведившего, что даже название одного близлежащего от Аккермана озера сохранило название Овидиевого озера, и на этом основании давал волю своему воображению до самых безрассудных границ”⁴. И однако в послании “К Овидию” (1821) сказано:

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов

Ты некогда принес и пепел свой оставил.

Твой безотрадный плач места сии прославил... (II, 218).

А в намеченном предисловии к стихотворению говорится уже нечто противоположное — вполне согласное с тем, что рассказывает Липранди: “Мнение будто <бы> Овидий был сослан в нынешний Аккерман ни на чем не основано” (II, 728). И этот же текст составил позднее примечание к отдельному изданию первой главы “Евгения Онегина” (VI, 653), т.е. Пушкин все-таки публично опроверг мнение П.П.Свиньина. Но к какому месту сделано это примечание? — К тому, где сказано об Овидии Назоне, что

... страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей (VI, 8).

Итак, И.П.Липранди, конечно, прав, утверждая, что Пушкин знал место ссылки Овидия. Он мог сослаться и на поэму “Цыганы”: там Старик-цыган говорит Алеко, что римский поэт был сослан “на берега Дуная” (IV, 186). (Впрочем, эти “берега Дуная” звучат довольно расплывчато, и поскольку события поэмы разворачиваются на левом берегу реки, то не о Бессарабии ли опять идет речь?). Но, видимо, многие читатели, современники Пушкина, могли и сомневаться в его исторических познаниях, а для этого, как видим, у них были достаточно веские аргументы...

Вот странно: знать истину и сказать вопреки ей! Но можно сделать и еще смешнее. Рассказать историю о полячке Марии — пленнице Бахчисарайского дворца — и просить П.А.Вяземского составить на основании книги И.М.Муравьева-Апостола “Путешествие по Тавриде” историческое предисловие. Когда же Вяземский написал вместо этого рассуждение о романтической поэзии, Пушкин остался весьма недоволен и ко второму изданию приложил выписку из книги Муравьева-Апостола: “Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания, и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек; все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких” (IV, 175). Но в самой-то поэме черным по белому написано:

— ... польская княжна
В его <Гирея> гарем заключена (IV, 160);

Тьмы татар
 На Польшу хлынули рекою

 Отец в могиле, дочь в плену (IV, 161).

Можно, впрочем, и так поступить: написать историческое исследование “Историю Пугачева” (1833) и там прямо и открыто сказать: “Весь чёрный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны... Шванвич один был из хороших дворян” (IX, 375). Такова сермяжная правда “историка строгого”. А потом можно написать “Капитанскую дочку (1836), где “хороший дворянин” Шванвич превратился в Швабрина и на фоне нормы — противоположных классов — появилась еще более высокая норма — единение людей.

Можно, конечно, упорствовать в мелочах и сказать в примечаниях к “Медному всаднику”, что “Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — *Oleszkiewicz*. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта” (V, 150). И можно нарушить нечто более серьезное: изобразить в “Моцарте и Сальери” одного из героев убийцей другого, оправдываясь тем, что “завистник, который мог освистать Д.<он> Ж.<уана>, мог отравить его творца” (XI, 218).

Наконец, сюда же относится и нарушение лингвистической исторической точности. Как отмечает В.А. Кошелев⁵, заметка Пушкина “Кстати о грамматике...” построена на сознательном нарушении истины языка во имя художественного эффекта: “Кстати о грамматике. Я пишу *цыганы*, а не *цыгане*; *татары*, а не *татары*. Почему? потому что все им.<ена> сущ.<естительные>, кончающиеся на *анин*, *янин*, *арин* и *ярин*, имеют свой род.<ительный> во множ.<ественном> на *ан*, *ян*, *ар* и *яр*, а им.<енительный> множ.<ественного> на *ане*, *яне*, *аре* и *яре*. Все же сущ.<естительные>, конч.<ающиеся> на *ан* и *ян*, *ар* и *яр*, имеют во множ.<ественном> им.<енительный> <на> *аны*, *яны*, *ары* и *яры*, а род.<ительный> на *анов*, *янов*, *аров*, *яров*. Единственное исключение: имена собственные. Потомки г-на Булгарина будут гт. Булгарины, а не Булгаре” (XI, 147). Пушкин, конечно, знает, что слово *болгарин* (а оно поддается созвучием с *Булгарин*) имеет во множественном числе форму именительного падежа — *болгары*, а не *болгаре*, а в родительном падеже — *болгар*, а не *болгаринов*, т.е. совпадая в начальной форме с

татарин^{ом}, болгарин в других формах сближается с цыганом. Пушкин знает, что выведенное им правило в целом ряде случаев “не работает”, но упорствует во имя “г-на Булгарина”.

Итак, примеров, наверное, хватит. Мы видим, что это столкновение истины исторической и “мечты поэта” свойственно не одному моменту художественной эволюции Пушкина, но, напротив, есть постоянная черта его мышления. Как же ее объяснить?

Можно, конечно, каждый отдельный случай объяснять особо: каждый раз конкретным художественным заданием. Это будет справедливо, но это не объяснит самого явления. Можно увидеть в этом явлении нечто роднящее его с мистификацией, столь свойственной пушкинскому творчеству. Это — мистификация наоборот, вывернутая мистификация, не прячущая свои концы в воду, но обнаруживающая их. Зачем? — Видимо, чтобы скрыть нечто более важное. Можно объяснить это явление еще каким-то образом. Все они не отменяют друг друга. Вот почему не в качестве альтернативы, а в качестве варианта я предлагаю путь через постижение пушкинского историзма.

Как уже ясно, впервые данный художественный прием был осознанно использован Пушкиным при работе над посланием “К Овидию” и “Бахчисарайским фонтаном”. И именно в приложении к “Бахчисарайскому фонтану” дан знаменитый “Отрывок из письма”, где прямо декларируется художественная позиция Пушкина.

“Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую *Митридатову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления” (IV, 175). Пушкин был очень внимателен. Наблюдая, он сделал вывод, что “так называемая гробница Митридата” — это “развалины какой-то башни”. Но ему важнее подчеркнуть не эту историческую истину, а жизнь сердца: “сорвал цветок”, “потерял без всякого сожаления”, — кстати, нормальные реакции для переполенного впечатлениями путешественника. “Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только” (IV, 175). Нет, Пушкин очень внимателен: на развалинах Пантикапеи ничего больше и не увидишь, но он, оказывается, не это и увидеть хочет. Далее таким же образом описан Юрзуф, другие, даже не названные места. Ничего не менялось, пока Пушкин не увидел березу: “... первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи и виноградные лозы” (IV, 176). Итак, не история, а береза затронула и разбудила

поэтические струны души. И началось: “Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы” (IV, 176). Остановимся и подчеркнем: “развалины храма Дианы” — “баснословные”, т.е. исторически не достоверные. Пушкин продолжает: “Видно мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере тут посетили меня рифмы” (IV, 176). В первом издании “Отрывка из письма” далее следовали стихи:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждавшим богам
Дымилась жертвоприношенья... (II, 364).

Тут мы совсем ничего не понимаем: так был ли “грозный храм”, или это “баснословные развалины”? Впрочем, недоумеваем не только мы. В.Ф.Раевский тоже ничего не понимал и спорил с Пушкиным. Потом так вспоминал об этом:

“Е. (читает).
И спящих волн прервется тишина.
Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами.

М а и о р. Повтори... Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет!

Е. Да это поэзия!

М а и о р. Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря плещаются о стены Кремля или Везувий пламя изрыгает на Тверской! может быть, Ирокезец стал слушать и ужасаться, — а жители Москвы вспомнили бы “Лапландские жары и Африканские снега”. Уволь! Уволь, любезный друг!”⁶.

Обобщая небольшой круг подобных явлений, А.А.Формозов писал: “Недостоверны рассказы о жизни Овидия в Аккермане, раз Тома находились “при самом устье Дуная” (IV, 728), но убедительно звучат стихи “В Молдавии, в глуши степей” (IV, 8). Нет в Керчи гробницы Митридата, но “зрит пловец — могила Митридата”. Вроде бы прав Муравьев-Апостол, отвергая гипотезу о храме Артемиды на мысу Фиолент, но

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм”⁷.

Это верно. Но это мало что объясняет нам. Ведь противопоставление истины исторической и художественной известно еще со времен Аристотеля. В его “Поэтике” написано: “Из сказанного яс-

но и то, что задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло быть. Поэтому поэзия фидософичнее и серьезнее истории, ибо поэзия более говорит об общем, история — о единичном⁸. Вслед за Аристотелем шел и Н.С.Лесков, когда говорил по поводу “Войны и мира”, что “книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, *по бывшему понимать бываемое*”⁹. Это общий закон. Это общий закон поэзии, который имеет, конечно, и к Пушкину отношение, но значение этого закона не объясняет, почему Пушкин сталкивает исторический факт и историческое предание.

В свое время С.А.Фомичев обратил внимание на то, что в основе каждой из “романтических” поэм и в связанной с романтическими традициями “Полтаве” есть ссылка на “предание”: “преданья старины глубокой” (IV, 7) — в “Руслане и Людмиле”; “И возвестят о вашей казни / Преданья темные молвы” (IV, 114) — в “Кавказском пленнике”; “Младые девы в той стране / Преданье старины узнали...” (IV, 169) — в “Бахчисарайском фонтане”; “Меж нами есть одно преданье...” (IV, 186) — в “Цыганах”; “Но дочь преступница... преданья / Об ней молчат...” (V, 64) — в “Полтаве”¹⁰.

Однако ссылки на “преданье” есть не только в “романтических” сочинениях Пушкина. В “Гавриилиаде” сказано про Бога:

Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье... (IV, 124—125).

“Прозванье”, т.е. фамилия Евгения в “Медном всаднике”

...под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало (V, 133).

А в “Евгении Онегине”

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины... (VI, 99).

Примеры эти можно умножить. Особенно знаменательна для нашего анализа “История села Горюхина”, сочиненная

И. П. Белкиным. Перечисляя источники своей истории, Иван Петрович упоминает не только “собрание старинных календарей”, “летопись горюхинского дьячка” и “ревизские сказки”, но и “изустные предания” (VIII, 134). А начиная историю с “баснословных времен”, он пишет: “Основание Горюхина и первоначальное население оногo покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оногo были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах: В то время все покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно...” (VIII, 137—138).

Да, с точки зрения И. П. Белкина подлинная история выше любого предания. Ведь написав “мелочные и сомнительные анекдоты”, “слышанные от разных особ”; он все же хотел сочинить “повествование истинных и великих происшествий” (VIII, 132). Надо, впрочем, сказать, что и в истории своей Иван Петрович не свободен от “преданий”. Так, объясняя происхождение названия Бесовского болота, он пишет: “Рассказывают, будто одна полумудрая пастушка стерегла стадо свиней не далее от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса, — но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить” (VIII, 134—135).

Это пишет И. П. Белкин — про село Горюхино. Но если мы учтем, что “История села Горюхина” написана Пушкиным как пародия на историческое повествование (в первую очередь — на “Историю русского народа” Н. А. Полевого), то можно сказать, что все это пишет Пушкин — про русскую историю в его, Полевого, изложении¹¹.

Предание, как составная часть культурного кругозора человека, у Пушкина не противопоставлено историческому факту, а дополняет и обогащает его. Напомню, что сам Пушкин в “Отрывке из письма” сказал, что “мифологические предания счастливей” для него “воспоминаний исторических”. Поэтому подлинным историзмом наделяется не историческая конкретика, не факт, а предание: то, что остается в памяти народа, то, что фиксируется устной молвой и передается из поколения в поколение. На подлинный историзм может претендовать лишь то, что невольно запомнилось и

потому стало преданием. Может быть, Сальери и не убивал Моцарта, но если предание сохранило именно эту версию — значит, это так и было. Семейные предания Гриневых имеют не меньшее право на существование, нежели история Пугачева, безразлично кем написанная — Пушкиным ли, роялистски настроенным ли историографом. Конечно, “Гузла” написана Мериме, но уже предание придало текстам “Гузлы” значение подлинности, — таким образом, это подлинно сербский фольклор. И т.д. Так, в художественном произведении предание замещает собой документ и служит формой художественного обобщения фактов действительности. Мария в “Полтаве” вполне могла заменить собой историческую Матрену именно потому, что “преданья об ней (этой дочери Кочубея. — М.С.) молчат”. С другой же стороны, в поэме должны быть непременно упомянуты “те песни, кои он (Мазепа. — М.С.) слагал” (V, 22), ибо, как сказано в примечаниях, “предание приписывает Мазепе несколько песен, доньяне сохранившихся в памяти народной” (V, 65).

В более поздний период Пушкин переносит этот принцип познания на историю и уже в этом жанре начинает широко использовать предания — анекдоты. Его записи анекдотов об исторических деятелях XVIII в. весьма знаменательны в этом отношении. Они могут быть не всегда исторически достоверны, но они лучше всякого документа характеризуют историческую личность. Будучи знаком с Н.Н.Раевским-сыном, Пушкин бесспорно знал, что тот не участвовал в сражении при Салтановке, но это стало достоянием предания — и он счел возможным зафиксировать это в своем посвящении Н.Н.Раевскому “Кавказского пленника”¹². Предание оказывается средоточием истории и поэзии.

¹ Сводку изучения “Героя” см.: Краснов Г.В. Пушкин. Болдинские страницы. Горький. 1984. С. 44 — 54.

² Формозов А.А. Пушкин и древности юга России // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1976. Т. IX.

³ Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т.1. С. 320 — 321.

⁴ Там же. С. 321.

⁵ Доклад Кошелева В.А. “Смех Пушкина” на конференции в Государственном музее А.С.Пушкина. (Москва, 1991, декабрь).

⁶ Раевский В.Ф. Вечер в Кишиневе // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 383.

⁷ Формозов А.А. Указ. соч. С. 205.

⁸ Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 655.

⁹ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 150.

¹⁰ Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. С. 59.

¹¹ См. об этом: Ивановникова В.В. “История села Горюхина” А.С.Пушкина в контексте литературных и исторических интересов поэта 1830-х годов. Саратов, 1994.

¹² См. об этом: Яновский А.Д. К.Н.Батюшков и Н.Н.Раевский (Новые документальные свидетельства о сражении при Салтановке) // Культура русского Севера: Традиции и современность. Череповец, 1990. С. 39—42

РОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1996

№ 8

Отделение литературы и языка Российской академии наук
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Международное общество культурных связей с Индией

Издается с 1993 года

К 200 - ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА Тематический номер

СОДЕРЖАНИЕ

Из пушкиноведческих разысканий

В.И.Кулешов. Духовный путь Пушкина (К пересмотру концепций)	3
А.А.Смирнов. Романтика дружбы в лирике Пушкина	13
М.В.Строганов. О роли предания в исторических сочинениях А.С.Пушкина	23
Д.П.Ивинский. "Медный всадник" Пушкина и "Отрывок" III части "Дядюв" Мицкевича	32
А.Б.Криницын. Пушкин и Жюль Жанен	37
И.С.Кузнецов. Элегия Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." .	49
Т.К.Батурова. Пушкин и альманах "Уrania"	56
Г.В.Зыкова. "Цыганы" и опера Вебера "Прецноза"	65

К "Евгению Онегину"

Ю.В.Стенник. Традиции Державина в "Евгении Онегине"	68
Н.Л.Дмитриева. Татьяна и Полина (Пушкин и Загоскин)	77
Г.В.Краснов. Соседи в поэтическом мире "Евгения Онегина"	85
В.А.Кошелев. Именник "Евгения Онегина" в функциональном аспекте .	91
Е.Я.Вольская. "Куплет Татьяне"	101
Е.А.Пономарева. О какой "грамматике" речь?	106
Н.И.Михайлова. "И учит азбуке детей"	111
А.В.Наумов. "Евгений Онегин" глазами криминалиста	114